

Анотація

У статті порушується проблема екзистенційної самотності генія, яка стала спільною для українських і російських письменників рубежу XIX–XX ст. і знайшла своєрідну художньо-філософську інтерпретацію в їх новелістиці.

Ключові слова: зовнішня та внутрішня екзистенції, екзистенційна самотність, митець-геній, новелістика.

Аннотация

В статье поднимается проблема экзистенциального одиночества гения, которая стала общей для украинских и русских писателей рубежа XIX–XX вв. и нашла своеобразную художественно-философскую интерпретацию в их новеллистике.

Ключевые слова: внешняя и внутренняя экзистенции, экзистенциальное одиночество, творец-гений, новеллистика.

Summary

In this article the problem of existential loneliness of genius is analysed which became common for the Ukrainian and Russian writers at the turn of the nineteenth and twentieth centuries and found a peculiar artistic and philosophical interpretation in their short stories.

Keywords: external and internal existence, existential loneliness, artist-genius, short stories.

УДК 82–3

Летаева Н. В.,
кандидат филологических наук,
Одинцовский гуманитарный институт

ИГРЫ РАЗУМА В “РОМАНЕ С КОКАИНОМ” М. АГЕЕВА

Проза младшего поколения русских писателей первой волны эмиграции, известного в российском литературоведении как “незамеченное поколение”, представляет интерес для исследователей явления русского зарубежья 20–30-х годов прошлого века. “Роман с кокаином” М. Агеева, вошедшего в русскую литературу как автор двух произведений (повести “Роман с кокаином” и рассказа “Паршивый народ”) и находящегося на периферии современных исследований, можно определить как сложный, многогранный художественный дискурс, насыщенный реминисценциями и аллюзиями, культурологическим подтекстом, виртуозной интертекстуальной игрой, как явление значительное для литературы русской диаспоры и русской литературы в целом.

Опубликованный в Париже в 1934 году частично как “Повесть с кокаином” в десятом, последнем, номере журнала “Числа” (сборников, по преимуществу литературных [4, 6], как назвал это издание идейный вдохновитель и редактор Н. Оцуп), сыгравшего заметную роль в становлении и развитии молодой эмигрантской литературы, “Роман с кокаином” воплотил на своих страницах не “Парижский опыт” (Б. Поплавский) жизни-существования в условиях “гибельного” эмигрантского быта (что в целом было свойственно литературе “незамеченного поколения”), а предреволюционную Москву, вписываясь в корпус московских текстов и дополняя его уникальным видением культурного российского центра сквозь призму сознания главного героя Вадима Масленникова, в начале повести гимназиста, затем студента, и сознания автора, оказавшегося в вынужденном

изгнании и пытающегося осознать причины происходящего в первой трети XX века.

Динамика повествования в “Романе с кокаином”, входящем в круг эго-документальной прозы, создаётся не только традиционным способом формирования сюжетных линий, которые, безусловно, присутствуют в повести М. Агеева как эпическом жанре, но и мыслительной работой героев, репрезентирующих мировидение “человека 30-х годов” (Ю. Терапиано), “в социальном смысле” находящегося “в пустоте, нигде и ни в каком времени”, как бы выброшенного “из общего социального мира” и предоставленного себе [3, 164]. В такой ситуации на первый план естественным образом выходит интеллектуальная деятельность как средство преодоления дистанцированности в отношениях с людьми, адаптации к социальной среде, выхода за пределы одиночества. Интеллектуальная работа героев “Романа с кокаином” придаёт повести полемический тон, сохраняя форму художественного дискурса и наполняя её публицистическим пафосом, свойственным русскому зарубежью. Дискуссия как составляющая часть поэтики “Романа с кокаином” эксплицирует именно те вопросы, которые волновали русского человека начала XX века в России и продолжали волновать русского человека, оказавшегося в вынужденных условиях эмигрантского существования: это вопросы цивилизации, войны, веры, кризиса православия.

Дискуссионное начало свойственно монологам периферийных героев повести: Буркевицу, Штейну, Соне Минц. Дискуссионность вводится автором открыто или имплицитно с расчётом на подготовленного адресата. Размышления о цивилизации М. Агеев вкладывает в уста учащихся гимназии, ответы которых на уроке истории представляют очевидную борьбу отношений социума к смене укладов жизни и человеку в непрерывном потоке событий. С одной стороны, автор изображает маленького честного труженика Айзенберга, знающего всё, что нужно, и даже больше, чем требуется, забегая “вперёд в хронологическую даль” [1, 32], но эти знания не выходят за узкие рамки фактов, не создают перспективы, не формируют концепции, картины мира; с другой – блестящего оратора Штейна, пересыпающего свою речь иностранными словами и латинскими цитатами и дающего понять, что он, человек XX века, к “услугам которого имеются теперь и автомобили, и аэропланы, и центральное отопление, и международное общество спальных вагонов”, нисходит к людям минувших эпох и считает себя вправе смотреть свысока на “людей времён лошадиной тяги” [1, 33]. Авторские интенции репрезентируются в ответе Василия Буркевица, развенчивающего штейновскую точку зрения, возвеличивавшую каждую следующую эпоху техническим усовершенствованием, и доказывающего, что отличия между столетиями нет, потому что не существует отличия между людьми жившими и живущими, и что “именно отсутствием-то отличия и объясняется поразительное сходство человеческих взаимоотношений и тогда, когда расстояние одолевалось за неделю, и теперь, когда оно покрывается в двадцать часов” [1, 34].

Размышления эти не были авторской самоцелью. М. Агеев пытается осознать причины известных событий начала XX века, стёрших Российскую империю с геополитической карты и расколовших русское общество на СССР, зарубежье и внутреннюю эмиграцию, и убедить широкую аудиторию (в контексте повествования – класс гимназистов), что раскол только явил себя миру в начале XX века, но зародился гораздо раньше в сознании “мелко” гордящихся, враждующих, болеющих пошлостью людей, но при этом ищущих социальной справедливости. Очевидная отсылка к теории социализма позволяет автору метафорически обозначить новые политические веяния в России паутиной, оплетающей сознания риторическими убеждениями, что “жить человеку глупому легче, чем умному, хитрому лучше, чем честному, жадному вольготней, чем доброму, жестокому милее, чем слабому, властному роскошней, чем смиренному, лживому сытнее, чем праведнику, и сластолюбцу слаще, чем постнику” [1, 36]. Эти же риторические убеждения и стали, по мнению автора, тем горячим, которое подогрело в 1917 году страшную русскую силу, “которой нет ни препон, ни застав, ни заград” [1, 37], силу одинокую, угрюмую и стальную. Победа “тёмной русской личности” (Б. Поплавский) (обращает на себя внимание портрет Буркевица: крошечные серые глаза, костистый лоб, “шарами налитые скулы”, стоптанные нечищенные ботинки, “потёртые брюки с неуклюже выбитыми коленями” [1, 37]) очевидна и в историческом процессе, и в художественном пространстве повести: класс отдаёт предпочтение Буркевицу, обозначая его лидером.

М. Агеев раскрывает и другую важную, на наш взгляд первичную, причину тектонических смещений, произошедших в российском обществе, – кризис православного сознания, обострившийся в период Первой мировой войны, когда священноначалие возносило молитвы о победе русского оружия. В повести тот же Буркевиц, продолжая размышления толстовских и чеховских персонажей о Церкви как институте и её служителях, в пространном монологе в традициях героев Достоевского, изобилующем риторическими вопросами и восклицаниями, выступает против гимназического батюшки, осудившего сквернословие подростков, недопустимое в речи христианина. Суть эмоционального выступления Буркевица сводится к дискредитации священника в социальном плане, занимающего пассивную, по мнению Буркевица, позицию в отношении войны. Важными для понимания позиции автора являются императивные конструкции героя: “Опомнитесь и действуйте, ибо люди: и матери, и отцы, и дети, и братья, и все, и все – ждут от вас, именно от вас, чтобы вы – служители Христа, бесстрашно жертвуя вашими жизнями, вмешались бы в этот позор и, встав между безумцами, крикнули бы громко, – громко потому, что вас много, вас так много, что вы можете крикнуть на весь мир: – люди, остановитесь, – люди, перестаньте убивать! Вот, вот, вот в чём ваш долг” [1, 50]. Очевидно, что строители “нового мира”, насколько это было возможно, рассчитывали на поддержку церковнослужителей в этом строительстве и видели в них мучеников за “новую” веру, опираясь на известные аксиологические ценности православия. Это верно было подмечено одноклассником Буркевица Егоровым / Ягом: “Ему не

христианство надобно, а его нарушения <...>” [1, 53]. Подобные речи имели действительное влияние на русское общество и потому, что в сознании русского народа, помнящего о Боге, но отпавшего от Евангелия, произошла подмена триединой сущности Сущего вочеловечившимся Христом, пришедшим в мир спасать грешников, по мнению многих, не от греха, как указано в Новом Завете, а от социальной несправедливости, что нашло отражение, например, и в творчестве М. Горького, и в поэме А. Блока “Двенадцать”.

В прозе младшего поколения русских писателей первой волны эмиграции (помимо повести М. Агеева, назовём, например, роман Б. Поплавского “Аполлон Безобразов”, введение к роману “Тело” Е. Бакуниной, “Три отрывка” С. Горного, “Священник из Эрки” Г. Раевского) отражено отпадение от Бога и его поиски. М. Агеев на уровне поэтики изображает уходящего из сознания русского человека истинного Творца мира и замену его кумирами. На смену общей, соборной молитве пришёл “соборный” смех (смех / хохот является одним из ведущих концептов художественного пространства повести): “Обычно молитва читалась монотонной скороговоркой, отзываясь в нас привычной необходимостью встать, полминуты стоять и, грохнув партами, садиться. Яг же начал читать молитву отчётливо и неестественно проникновенно, при этом крестился не так, как все, смахивая с носа муху, а истово, закрывая глаза <...>. И тотчас раздались смешки, у всех явилось подозрение, что это шуточка, – и подозрение это перешло в уверенность, а разрозненные смешки в хороший хохот <...>” [1, 24]. На смену московскому церковному благовесту, богомольной столице с храмами, удивительным образом воплотившейся на страницах шмелёвских романов “Богомолье”, “Лето Господне”, написанных в те же годы, что и “Роман с кокаином”, в русском зарубежье, пришли дома свиданий, трактиры, “разбазаривающие” за двугривенный любовь “раскрашенные старухи”, свойственные поэтике петербургского текста. Символичен эпизод, в котором “под вечер, когда трубы пели про Фауста, – в ближней церкви начинали остро и мелко тилибинить колокола, будто предупреждая о том, что сейчас бархатным громом лопнет медный удар, от которого вальс трубачей вдруг послышится нестерпимо фальшивым” [1, 63]. Дополняет православный код метафора, в которой Москва сравнивается с “гигантской лампадой”, свисавшей с неба, монастырская стена и монастырская розовая башня.

Возвращаясь к мотиву интеллектуального поединка, отметим, что основу повести составляет отражение рефлексировующего сознания Вадима Масленникова, жаждущего счастья и ищущего его. Поиски гармонии приводят главного героя к размышлениям о болезни века – деградации духа, основного источника развития человека. Прибегая к развёрнутой метафоре, основанной на сопоставлении жизни с театром, а человека – со зрителем, Масленников приходит к выводу, что в человеке вообще и в нём в частности “человечнейшие чувства словно ниточкой связаны” со “зверинными чувствами” и что “предельное напряжение” одних “влечёт и тянет за собою вылезание других, подобно песочным часам” [1, 162] или качелям, которые, “получив толчок в сторону человечности, уже тем самым подвергаются

предрасположению откачнуться в сторону зверства” [1, 163], демонстрируя “смутную, страшную природу <...> душ” [1, 170].

Теоретические размышления Масленникова о “душе человеческой” (М. Лермонтов) находят вполне практическое подтверждение в его поступках. Шестнадцатилетний юноша в своих записках (“Роман с кокаином” имеет форму дневниковых записей – излюбленного жанра младшего поколения русских писателей первой волны эмиграции) подробно излагает, как “остро и жарко” ненавидит свою мать именно потому, что испытывает жалость к ней, глядя на её никому не нужную старость и бедность, как постоянно требует от матери денег, заработанных ею с трудом, на извозчиков, номера в доме свиданий Виноградова и, что удивительно, на милостыню, как ударяет её по щеке за то, что она обвинила его в воровстве, и тут же со слезами раскаивается в содеянном. Подобное “раскачивание” чувств испытывает Масленников и при встрече со священником. Два чувства овладевают главным героем, когда он узнаёт, что у батюшки убит сын на войне: “<...> первое – это прижаться к батюшкиному лицу, поцеловать его и нежно расплакаться; второе – бежать к Буркевицу, рассказать всё и жестоко посмеяться. Эти два желания были как духи и зловоние: они друг друга не уничтожали, – они друг друга подчёркивали” [1, 60–61]. Трогательное, возвышенное отношение к Соне Минц, рождающее в душе Масленникова “рыдающую нежность”, превращающее главного героя в “мечтательного” и “наивного” мальчика, чистота чувств которого явно не соответствовала “грязному опыту” Вадима, тем не менее не отвратило Масленникова при встрече с одноклассником Такаджиевым от сквернословия и оскорбительных слов в адрес Сони. Подводя итог своим размышлениям, Вадим пишет: “Таковы были мои отношения к людям, такова была эта раздвоенность, – с одной стороны, влюблённое желание обнять весь мир, осчастливить людей и любить их, с другой – бессовестная трата трудовых грошей старого человека (*няньки Вадима, отдавшей ему все свои сбережения, – Н. Л.*) и безмерная жестокость к матери. И особенно странным здесь было то, что и бессовестность эта и жестокость несколько не противоречили этим моим влюблённым позывам обнимать и любить весь живой мир – как будто усиление во мне, столь необычных для меня, добрых чувств в то же время помогало совершать мне жестокости, к которым (отсутствуя во мне эти добрые чувства) – я не счёл бы себя способным” [1, 89–90]. Подтверждение своей теории Масленников получил и в конце своей недолгой жизни: всё тот же Буркевиц, одноклассник Вадима, ставший после революции “товарищем” и “начальством”, одного слова которого было достаточно, чтобы спасти Масленникова от наркозависимости, отказал последнему. Важность этого эпизода подчёркивается М. Агеевым композиционно: эпиграфом к первой главе автор избирает фразу, которая завершает повесть, – “Буркевиц отказал”. Таким образом, данная семантическая конструкция является ключевой в произведении и резюмирует концепцию М. Агеева о “душе человеческой”.

Справедливость теории Масленникова очевидна при одном условии: человек подобен “качелям”, изображённым в своё время Ф. Сологубом в

стихотворении “Качели”, если в сознании и душе человека нет места Творцу. Нарушение первой заповеди неизбежно влечёт за собой отпадение от Бога. Масленников творит кумиров, подменяя, например, икону образом Сони Минц; неисполнение заповеди “Почитай отца твоего и мать твою” (Исх. 20, 12) [2, 73] не только закономерно приводит к тому, что сын ударяет свою мать по щеке, но и лишает Вадима возможности, чтобы “продлились дни” его на земле. Масленников прелюбодействует, крадёт у матери брошь (единственную предметную память о муже и отце), чтобы купить на неё кокаин, наконец, убивает себя: молодой человек умирает от сознательной передозировки наркотиком.

Мировоззрение главного героя, которое он сам называет “ужаснейшим”, поскольку такое представление о “душе человеческой” оскорбляет человеческую душу, закономерно приводит Масленникова к убеждению, что человек подл, испорчен, жаден и вообще плох, что человек воплощает тех насильников и злодеев, поступки которых вызывают негодование в театре при просмотре сентиментальных пьес. Безусловно, М. Агеев применяет мировоззрение своего героя, продолжающее, как нам видится, лермонтовское размышление о “душе человеческой”, к ситуации, сложившейся в первой трети XX века: “<...> мы видим, что как раз те особенно темпераментные эпохи, которые выделяются исключительно сильными и осуществлёнными в действии взлётами в сторону Духа и Справедливости, кажутся нам особенно страшными в силу перемежающихся в них небывалых жестокостей и сатанинских злодейств” [1, 173]. Символична в этом отношении метель в конце повести, отсылающая нас и к “Бесам” и “Капитанской дочке” А. Пушкина, и к “Двенадцати” А. Блока. Однако социальный контекст вторичен – на первое же место выходит мир, где ведётся борьба “за человеческий дух”, которую Г. Федотов назвал борьбой “между Буддой и Христом, между нирваной и вечной жизнью” [6, 146]. В этой борьбе человек, по глубокому убеждению М. Агеева, “изнывает”, потому что правда Христова человеку не по силам, а нирвана поглощает “теплоту” человеческого “обличья”.

Таким образом, полемическое начало в “Романе с кокаином”, мотив дискуссии, “поединки” разума, своеобразный дидактизм позволяют сделать вывод о присущих повести особенностях интеллектуальной прозы, что проявляется и на языковом уровне в наличии афористических выражений (“Велика Москва, и много в ней народу” [1, 21], “Женщина, это всё равно что шампанское: в холодном состоянии шибче пьянит и во французской упаковке – дороже стоит” [1, 76], “Для влюблённого мужчины все женщины – это только женщины, за исключением той, в которую он влюблён: она для него человек. Для влюблённой женщины все мужчины – это только люди, за исключением того, в которого она влюблена: он для неё мужчина” [1, 97] и др.), логических умозаключений, например: “Антисемитизм вовсе и не страшен, а только противен, жалок и глуп: противен, потому что направлен против крови, а не против личности, жалок потому, что завистлив, хотя желает казаться презрительным, глуп потому, что ещё крепче сплочает то, что целью своей поставил разрушить. Евреи перестанут быть

евреями только тогда, когда быть евреем станет не невыгодно в национальном, а позорно в моральном смысле. Позорно же в моральном смысле станет быть евреем тогда, когда наши господа христиане сделаются наконец истинно-христианами, иначе говоря людьми, которые, сознательно ухудшая условия своей жизни – дабы улучшить жизнь всякого другого, будут от такого ухудшения испытывать удовольствие и радость” [1, 40].

“Роман с кокаином” как неотъемлемая часть творческого наследия младшего поколения русских писателей первой волны эмиграции является ярким подтверждением гипотезы о том, что проза “незамеченного поколения”, продолжающая традиции русской классической литературы и литературы Серебряного века и впитывающая новые веяния западноевропейской литературы XX века, эклектична по своей сути. Это не художественная литература в привычном понимании этого явления, а художественный дискурс, синтезирующий публицистическое, интеллектуальное, философское, культурологическое, интертекстуальное начала. “Новое совместное открытие, касательное метафизики “тёмной русской личности”” [5, 205] потому и не было понято в своё время критиками русского зарубежья и до сих пор в большей своей части отторгается современными исследователями, что рассматривать его односторонне, с точки зрения анализа текста художественной литературы, лишено смысла и перспективы. Тем не менее исследование прозы “незамеченного поколения” крайне важно для понимания мироощущения “человека 30-х годов”, а также целого поколения, родившегося в дореволюционной России и сформировавшегося в условиях творческой свободы, но вне родины, в условиях неукоренённости, трансграничья. Возвращаясь к “Роману с кокаином”, отметим, что повесть, несмотря на эпатажное название, требует дальнейшего научного исследования с целью определения достойного места её автору в истории русской и мировой литературы.

Литература

1. Агеев М. Роман с кокаином : [роман] ; Паршивый народ : [рассказ] / М. Агеев ; [статья Н. Струве]. – М. : Худож. лит., 1990. – 222 с.
2. Библия : книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. – 1376 с.
3. Варшавский В. О “герое” эмигрантской молодой литературы / В. Варшавский // Числа. – Париж, 1932. – № 6. – С. 164–172.
4. От редакции / [под ред. И. В. де Манциарли, Н. А. Оцупа] // Числа. – Париж, 1930. – № 1. – С. 5–7.
5. Поплавский Б. Вокруг “Чисел” / Б. Поплавский // Числа. – Париж, 1934. – № 10. – С. 204–209.
6. Федотов Г. П. О смерти, культуре и “Числах” / Г. П. Федотов // Числа. – Париж, 1930. – № 4. – С. 143–148.

Аннотация

Проза младшего поколения русских писателей первой волны эмиграции, известного в российском литературоведении как “незамеченное поколение”, представляет интерес для исследователей явления русского зарубежья 20–30-х годов прошлого века. “Роман с кокаином” М. Агеева, опубликованный впервые в 1934 году в Париже в журнале “Числа”, сыгравшем заметную роль в становлении и развитии молодой эмигрантской литературы, как “Повесть с

кокаином”, – явление значительное для литературы русской диаспоры и русской литературы в целом. В повести, вписывающейся в круг эго-документальной прозы, репрезентировано мировидение “человека 30-х годов” сквозь призму авторского сознания и сознания главного героя Вадима Масленникова, в начале повести гимназиста, затем студента, живущего в Москве накануне известных событий начала XX века. В форме дневниковых записей, излюбленном жанре младшего поколения русских писателей первой волны эмиграции, отражено полемическое начало, позволяющее автору сохранить форму художественного дискурса и наполнить её публицистическим пафосом, свойственным русскому зарубежью в целом. Дискуссия как составляющая часть поэтики “Романа с кокаином” эксплицирует именно те вопросы, которые волновали русского человека начала века в России и продолжали волновать русского человека, оказавшегося в вынужденных условиях эмигрантского существования: это вопросы веры, кризиса православия, двойственной природы личности, человеческих отношений, поиска любви и счастья. “Поединки” разума в “Романе с кокаином” позволяют сделать вывод о присущих повести особенностях интеллектуальной прозы и наследовании лермонтовских традиций в изображении “души человеческой”.

Ключевые слова: М. Агеев, “Роман с кокаином”, русское зарубежье, младшее поколение русских писателей первой волны эмиграции, интеллектуальная проза.

Анотація

Проза молодшого покоління російських письменників першої хвилі еміграції, відомого в російському літературознавстві як “непомічене покоління”, становить інтерес для дослідників явища російського зарубіжжя 20–30-х років минулого століття. “Роман з кокаїном” М. Агєєва, опублікований вперше в 1934 році в Парижі в журналі “Числа”, що зіграв помітну роль у становленні та розвитку молодшої емігрантської літератури, як “Повість з кокаїном”, – явище значне для літератури російської діаспори та російської літератури в цілому. У повісті, що вписується в коло его-документальної прози, репрезентировано світобачення “людини 30-х років” крізь призму авторської свідомості і свідомості головного героя Вадима Масленнікова, на початку повісті гімназиста, потім студента, що живе в Москві напередодні відомих подій початку XX століття. У формі щоденникових записів, улюбленому жанрі молодшого покоління російських письменників першої хвилі еміграції, відображено полемічний початок, що дозволяє автору зберегти форму художнього дискурсу і наповнити її публіцистичним пафосом, властивим російській зарубіжжю в цілому. Дискусія як складова частина поетики “Романа з кокаїном” експлікується саме ті питання, які хвилювали російської людини початку століття в Росії і продовжували хвилювати російського людини, що опинилася у вимушених умовах емігрантського існування: це питання віри, кризи православ'я, двоїстої природи особистості, людських відносин, пошуку любові і щастя. “Поединки” розуму в “Романі з кокаїном” дозволяють зробити висновок про притаманні повісті особливості інтелектуальної прози та спадкуванні лермонтовських традицій у зображенні “душі людської”.

Ключові слова: М. Агєєв, “Роман з кокаїном”, російське зарубіжжя, молодше покоління російських письменників першої хвилі еміграції, інтелектуальна проза.

Summary

Prose of the younger generation of Russian writers of the first wave of emigration, known in Russian literature study as “unnoticed generation”, is of the interest of the researchers who deal with the phenomenon of the Russian abroad of the 20–30th of the past century. “The novel with cocaine” by M. Ageev, published in 1934 in Paris in the magazine “Numbers” for the first time (this magazine played a noticeable role in the formation and development of the young emigrant literature) as “The narrative with cocaine”, – is the considerable phenomenon for the Russian Diaspora and Russian literature in general. In the story, which is the part of ego-documentary prose, the view of “human beings of the 30th” is presented through the prism of the author’s consciousness and through the consciousness of the main character Vadim Maslennikov, who was a gymnasia pupil at the beginning of the story, then a student, lived in Moscow on the eve of the well-known events of the early 20th century. In the form of diary notes,

which was the favourite genre of the younger generation of Russian writers of the first wave of emigration, reflected a polemic feature that allows the author to keep the shape of artistic discourse and fill it with publicistic pathos, inherent for the Russian Diaspora in general. Discussion as a part of the poetic of “The novel with cocaine” brings up those issues which had disturbed the Russians at the beginning of the century and continued to agitate the Russian man who was found in the forced conditions of emigrant being: the issues of faith, the crisis of Orthodoxy, the dual nature of personality, human relations, search of love and happiness. Mind “duels” in “The novel with cocaine” allow to make a conclusion of the peculiarities of intellectual prose and inheritance of Lermontov’s traditions in the imagery of the “human soul”.

Keywords: M. Ageev, “The novel with cocaine”, the Russian abroad, the younger generation of Russian writers of the first wave of emigration, intellectual prose.

УДК 82.091

Остапович М. О.,
викладач,
Буковинський державний
фінансово-економічний університет
(Чернівці)

ОБРАЗ ИНТЕЛЕКТУАЛА ЯК ЧУЖОГО В ОПОВІДАННЯХ СТАНІСЛАВА ДИГАТА

Літературний процес у Польщі завжди був тісно поєднаним з історичними подіями, що змінювали обличчя країни, а інколи й світу. Зрештою можемо говорити, що полякам властиве таке собі історичне мислення, яке дозволяє підкреслити “обраність народу”. Проте у ХХ столітті ряд авторів зробили спробу аналізу процесів історичних та психологічних нібито збоку, що дозволило їм дійти до доволі непересічних висновків. До таких письменників ми зараховуємо зокрема Станіслава Дигата та Чеслава Мілоша.

Станіслав Дигат стартував у літературу в 1938 році, коли написав кілька оповідань, в яких показував як польську знать, так і звичайного обивателя в процесі деградації їхньої моралі, втрати зв'язку із реальним світом. Добровільне усунення автора від ряду процесів, у які була занурена вся мистецька Польща, наразило його на критику. Так, В. Хорев, роблячи огляд польської літератури воєнного періоду, зауважує, що “тексти Дигата, як і ряд інших творів польських письменників, були зараховані критикою до “інтелігентської літератури” з пасивним, споглядальним ставленням до життя довоєнної інтелігенції” [3, 126]. Письменник не міг собі дозволити пасивної ролі, адже суспільство вимагало обрати якусь чітку позицію із яскраво вираженим політичним забарвленням. “Потреба” такого роду вибору зіграла із митцями злий жарт: дозволивши наліпити на себе маску “визначеного”, митець не лише втрачав свободу дій, а й прирікав себе на довічне носіння хай інших, але масок, втрачав можливість говорити те, що думав.

Поняття маски стає концептуальним, розширює сферу як смисловою, так і свого словесного означення аж до виникнення терміну “кетман”. Дане поняття функціонує як в рамках окремих текстів Станіслава Дигата та інших польських письменників, так і в середовищі політологів, культурологів, аналітиків, інтелектуалів.